

Владимир САЧКОВ (г.Краснодар) Последняя шутка Француза



Какое-то ненастоящее брезгливое чувство вины оставил он в тот день своим дальним родственникам и соседям. Матери он подарил долгожданное облегчение, отчиму, которого ненавидел, — неподдельную радость, жене — призрачную надежду не встретиться с ним у одного котла в преисподней, где отмывают тунеядцев. Младшему брату достался раскрытый рот, друзьям ничего не досталось, потому что их не было, а мне он оставил свою последнюю шутку. В тот день, когда выпал из окна своей комнаты на четвёртом этаже.

Он сломал свои кости в 42 года и те, кто не знал его при жизни, вздыхали: ах, какой молодой! А другие, у которых он успел занять и не отдал, простили старику.

В сорок лет Француз был совершенно седым. От усталости — объяснял он тем, кто

давно его не видел. И тут же охотно приводил похожий пример:

— Я вчера на базаре был. Жара такая, духота, а какие-то урюки фуру с сахаром разгружают. Вкалывают, короче, мешками. А рядом, прикинь, их босс под деревом, в тенёчке — вот с таким животом — на скамейке сидит и платочком так лениво пот с шеи вытирает. И знаешь, чо говорит? Устаю я, э-э! Устаю!

После такого вступления Француз обычно говорил, что ему не хватает на бутылку. А если чувство юмора у подателя не успевало за хозяином, он мгновенно выдавал подходящий анекдот. Кстати, чувство юмора было единственным имуществом Француза, которым тот владел в течение всей жизни. Оно же было и единственным постоянным капиталом. Обычно владельцы извлекают выгоду из своего состояния, пуская то, что имеют, в оборот, а этот, заложив сокровище у самого жадного ростовщика — случая, пользовался лишь мизерным, но зато ежедневным процентом. Поступков Француз не совершал, предпочитая им бесполезные выходки. И вряд ли он задумывался о том, что выходки сами по себе хоть и эффектные, но не приносят пользы и последствия от них обращаются против самого фигуранта. И от того, кто быстрее устанет — общество или фигурант, зависит долголетие последнего. На это ему тоже было наплевать.

Жизнь успела наскучить Французу в те же сорок лет. Он сказал мне об этом на кладбище в прошлую Пасху. Нет, не сказал, прошамкал беззубым ртом, устало цепляясь за чей-то крест:

— Когда уже я? Надоело всё. И зачем?

Зачем — это не вопрос, это был вывод. И как алкоголик и бездельник, а значит один из тех, кто в отличие от трезвых сомневающихся философов с каждым стаканом уверенно приближается к истине, он предвкушал лишь разочарование.

Однажды, надеясь на невозможное, мать пообещала Лёшке однокомнатную квартиру с обстановкой, если он женится. В 33 года Француз обрёл свой второй сапог. Долго он не искал — просто зарегистрировался с собутыльницей, к которой, естественно, не питал особых чувств, разве что уверенность в том, что она вернётся из магазина с бутылкой, если дать ей денег. И пусть свадьбу кто-то считает событием, серьёзно влияющим на

последующую жизнь, но для Француза это была просто вечеринка с подарками.

Он с детства не привык работать, и жена была таких же правил, употребляя осетинской водки не меньше, чем Француз. Поэтому того добра, что надарили на свадьбу, хватило им на полгода, включая телевизор, ковёр, хрустальный набор, мягкую мебель и холодильник. Но когда молодожёны взялись за последнее — отвинтили газовую плиту, заботливая мать, опасаясь за саму квартиру, отобрала у них ключи и отвела жить к себе — на полное иждивение. При этом она обязала сына страшной клятвой, что тот будет искать работу. Так и сказала: поклянись мною, паразит! Лёшка поклялся и нашёл. Нашёл себе работу по силам — рабочим сцены в театре имени Кое-Кого. Так он называл драматический театр имени Горького. Разумеется, его привлекало не искусство, а прохладные подвалы под сценой с кучей старого барахла, из которого должным образом он оценил лишь кресло-качалку. Море свободного времени и вино-водочный магазин напротив тоже располагали к отдыху. Единственную же стоящую неприятность доставляла малая зарплата, но к ней можно было привыкнуть. На это ушло два месяца, потом его выгнали. Француз попался на воровстве — продал чабанам задник из спектакля «Власть тьмы». Может быть, случилось невероятное, и сам автор — Лев Толстой, с его знаменитым «Не могу молчать!» восстал от возмущения из могилы и лично сообщил директору Русской Драмы о пропаже; может, не утерпел старший машинист сцены, с которым Француз не поделился. Но, скорее всего, сами чабаны и позвонили куда надо. Ибо Француз обидел их при расставании. Он спросил:

— А зачем вам, в натуре, этот задник?

— Мы на кошару его повесим — хорошая крыша. И большая будет. Яхши! — радовались скотоводы.

— Вот вы чабаны, в натуре! — определил Француз.

И это могло обидеть чабанов.

Он оправдывался, сто раз повторял, что именно чабаны толкнули его на воровство, но Лёшке не поверили, и хуже всего то, что после этого он стал воровать постоянно. Я с удивлением узнавал об этом от друзей и родственников, которых посещала с визитом

эта пара — Француз и его жена Танька. У людей пропадали деньги, кольца, цепочки, разная мелочь. И всякое их воровство в гостях начиналось с ругани и драки. Чему удивляться, если они подрались и на собственной свадьбе? Потом я узнал, что они на пару воруют в общественном транспорте — шарят по карманам. Однажды Француз попался в троллейбусе, но кошелек взяла на себя Танька. Француз категорически не хотел в тюрьму, он уже раз отсидел в молодости за хулиганство, и теперь три года должна была отсидеть жена. Только этот супружеский долг она исполнила верно и, мало огорчившись, ушла на зону, а он, махнув рукой на улицу, стал воровать в доме. У матери и у отчима. От Француза прятали не только деньги и блестящие предметы, но даже нижнее бельё. И ведь не всякое воровство для обогащения. Есть более благородные цели. Воровать — чтобы пить, а пить — чтобы не думать о работе и вообще ни о чём. Достаточно ему было и того, что работа велась внутри его больного организма. Там, напрягаясь, вкалывала гепатитная печень, трепетало уставшее безразличное сердце и одна-единственная почка, с которой он родился, выводила из организма трудную воду.

Наверное, самое циничное действие, которое только может произойти у гроба твоего родственника и друга детства — это стоять рядом и думать не об умершем человеке, а о том, как начать рассказ о его похоронах. Уже только поэтому писатели — самый циничный народ, если не считать журналистов, для которых смерть — это просто хлеб насущный. Искать в факте смерти художественную составляющую — тоже цинизм. Я со стыдом поймал себя на этой мысли и оглянулся по сторонам.

У деревянной коробки с покойником собралось несколько родственников и соседей. Ни один человек, (даже мать!) не плакал. Люди пытались скорбеть, но получалось неважно. Конечно, это не их вина, а вина того, кто приносил им одни неприятности. По этой причине можно не слишком уважительно относиться к его смерти и по этой же причине можно разрешать мальчишкам совсем близко гонять мяч на футбольной площадке.

Эта футбольная площадка... я помню её хорошо — просто вытоптанная поляна с железными футбольными воротами, только сейчас на них нет сетки. Я помню — здесь когда-то поймал меня сторож. Толпа пацанов бежала поздним вечером со стадиона через дворы, бежала, и от злости, что нальчикский «Спартак» проиграл с крупным счётом, громила кирпичами стёкла первых этажей. Это была Лёшкина идея, он бежал первым, валил ногами мусорные баки и орал, подогретый портвейном «Кавказ»:

— Стукарь! Атас!

Стукарь — это сторож. Такие находились при каждом доме и следили за порядком. Один из них, выносливый тип, прицепился за нами и преследовал до самого Лёшкиного двора. Вот здесь на этой поляне он поймал меня за шиворот. Потом этот стукарь вызвал милицию. Меня допрашивали с пристрастием в кузове воронка. Били по лицу, требовали назвать фамилии пацанов, что били стёкла. Я молчал и злился на Француза, хоть это была и не его вина, что я не смог убежать. Но идея-то была его! И особенно обидно было то, что я не разбил ни одного окна и не перевернул ни одной мусорки.

— А я не знал, что ты пишешь!

Услышав знакомый голос, я вздрогнул. Этого не может быть! Послышалось. Я на всякий случай ещё раз заглянул в красную коробку. Француз лежал на месте, под белой кисеёй.

— Ты со мной потом неделю не разговаривал, помнишь? Даже когда я тебе динамо на велик подогнал.

Это его голос! И динамо он подарил, помню. Как помню и то, что его велосипед ремонтировал всегда я. Но всё равно не верится!

— А чо, ты меня не видишь? А ну я сейчас в тень стану. Вот сюда, под дерево смотри!

Я повернулся и увидел рядом прозрачный силуэт Француза. В натуральную величину! Лёшка, одетый в похоронный костюм, стоял под деревом и пытался теребить ветку. Но рука его проваливалась сквозь зеленые побеги и ни один лист так и не задрожал от его усилий.

— Что? Это ты, Лёшка?

Несколько «скорбящих» удивлённо посмотрели в мою сторону.

— Да не ори! — приказал он глухим голосом, — можешь молчать, я тебя и так слышу.

В галлюцинации я винил невыносимую духоту и белую градовую тучу, выползшую из-за гор. При каких ещё обстоятельствах умерший человек может говорить?

— А что, я умер? — тень Француза мелко затряслась от смеха.

Вообще, на него похоже — он ни во что не верил, и даже в светлый праздник Пасхи ходил на кладбище только для того, чтобы выпить.

Но всё-таки, почему на меня смотрят? И почему из всех присутствующих галлюцинация выбрала именно меня?

— А с кем мне ещё говорить, Володя? — устало вздохнул Француз. — Не с отчимом же? И не с этими старыми болванами, которых он притащил с работы. Я их вообще не знаю. А ты?

— Нет, — подумал я, — первый раз вижу.

— Вот видишь! Кто его просил? А ведь это мои похороны!

Я только подумал, а он услышал! Что же происходит? Мне стало не по себе. Интересно,

что обо мне подумают, если я скажу...

— Ага, скажи им! — смеясь, посоветовал Лёшка.

— Послушай, но почему я? Почему я?

— А, что, с матушкой мне говорить? Нет уж, с неё хватит. Намучалась со мной... Да ты представь — сейчас она услышит мой голос, — уныло заговорил Француз. — Хочешь, чтобы ещё один гроб заказали?

— Что? У тебя совесть появилась? Надо же! И что, для того, чтобы появиться твоей совести, тебе самому надо было умереть?

— Если ты так сказал — значит действительно начал писать.

— А ты тоже раньше так не думал.

Интересно получается: он говорит, а я думаю и при этом всё наоборот!

— А вообще, если тебе не нравится, как с тобой говорят, ты всегда можешь выбрать кого-нибудь другого. Жену, например. Или брата. Вот он, рядом стоит.

— Жену? Таньку? — возмутился Француз. — Ты, что, не знаешь? Она же сдохла, сука! Тварь! Шалава!

Так сказать о своей жене мог только Француз. И это было не удивительно, учитывая их

простые отношения, но удивило меня другое.

— Разве Танька умерла? Не верится. Она же лет на пять моложе тебя.

— Отравилась водкой палёной. Вместе с этим своим... трахалем! Ты, конечно, не знаешь, ты в Москве был. Козёл он! Чо я его тогда, на свадьбе, не зарезал? Ножик тупой был. Да ты помнишь, нас на моей свадьбе растаскивали. Прикинь? Прийти ко мне на свадьбу! Как тебе это нравится, а?

Я не ответил ему, но обратился к младшему брату Француза:

— Андрей, почему Лёшкиной жены нет на похоронах?

Тот удивлённо взглянул на меня из-под толстых приближающих линз:

— А ты не знаешь? Она же умерла год назад. Отравилась водкой. Ещё год назад. Лёшка потом с её старшей сестрой жил в сарае каком-то, у речки. Да эта Ольга тоже алкашка, так что он много не потерял.

— Ха, проверить он хотел! Ну, что? Убедился? — ликовал прозрачный образ. — Слышал, что про меня говорит? А сам-то он что, этот олень? Он же сам с женой разошёлся как вернулся с заработков. Обули его хорошенько по дороге с Севера. Всё, что заработал за год, в поезде отобрали. С пустыми руками приехал, идиот, — вот поэтому жинка забрала двоих детей и сквозанула к маме с папой.

Француз не делил неудачи на свои и чужие, одинаково смеясь над всеми.

— О! Смотри — дядька Петька Пензев с сыном припёрся, с Игорем. Только и видел я

его, что на похоронах. Знаешь, что он на поминках всегда говорит? Надо, говорит, чаще встречаться — мы же родственники! А сам хоть бы раз ко мне на день рождения пришёл! И знаешь, что ему нравится? Гвозди в гроб вколачивать! Кого б ни хоронили, он всегда забивает, маньяк. Жена в дурильнике работает, а сын — в зоопарке. Прикинь, семейка! — хихикнул Лёшка и припомнил. — Каким он был квадратным, таким и остался. Но смотри, как поседел! А когда бабушку хоронили, хвастался, что ни одного седого волоса нет... О-па! Чо это у него с носом? Красный какой! Ты у него, Володя, забери молоток. Не хочу, чтобы он в мой гроб гвозди забивал.

Пензев первым делом подошёл к Лёшкиной матери, сидящей на стуле, у покойника, обнял её, прошептал что-то на ухо и потом целую минуту глубокого внимания уделил самому покойнику. Насмотревшись, пошёл по кругу соболезновать родственникам. Последним пожал руку мне. Потом вернулся к младшему брату Француза, Андрею, и спросил его, как водится в таких случаях, вкладывая больше трагичности в голос:

— Как это произошло?

— Я не видел, — поднял плечи Андрей, — мы с ним выпили немного в тот день, потом я домой пошёл. А через час мне матушка звонит — плачет, Лёшка разбился. Выпал из окна. То ли он слишком перегнулся, а подоконник низкий же, то ли поскользнулся... в общем, не знаю. Меня в тот момент не было. Я слышал, что он сумку на бечёвке спускал — хотел кого-то за водкой послать. А другие говорят — не было никакой сумки.

— Как это не было? — возмутился дядька Петька, — что, никто не видел? А милицию вызывали?

— Да никто не вызывал, — вмешался в разговор Валера, другой дядя Француза, которого Лёшка называл просто дядькой, — и так всё ясно: алкоголик. Выпил — и сорвался. Его уж давно земля дожидалась. Ну, теперь мать хоть вздохнёт свободно.

— Отчим скорую вызвал, и его в реанимацию отвезли, — тихо говорил младший брат, — там он почти двое суток пролежал и кончился.

— Да какая там реанимация, — махнул рукой дядька, — у него ни одной кости целой не осталось. Даже позвоночник... Он весь как на шарнирах был, когда я его в гроб укладывал. А голову видели? Ну вот. Какая там реанимация поможет?

— Поп уже приходил? — строго спросил Пензев.

— Нет. И не придёт. Матушка сегодня утром в церковь ходила. Там ей сказали, что освящать не будут, потому что вдруг это был не несчастный случай? Мы, говорят, должны быть уверены, — объяснил Андрей. — Так что она свечку поставила и ушла.

Француз внимательно слушал, сложив руки на груди. Я сказал ему, не произнося вслух:

— Между прочим, Лёшка, я тоже хотел бы знать, как это произошло? Это что, был несчастный случай?

— Несчастный случай? — хмыкнул Француз, — ты их больше слушай. Они ещё не то расскажут! Кому ты веришь? Дядьке? Этому телемастеру? Да он же мне кинескоп на телевизоре заменил и сказал, что новый. А сам старый поставил. И ещё деньги содрал с родной сестры, с моей матери, как за новый. Это он потом по-пьянке проговорился. Знаешь, что он ещё вытворяет? Берёшь, говорит, раствор стирального порошка, и помазком это дело на плату, но не на ту, которую ремонтировал, на другую. А потом отдаёшь аппарат клиенту. Через две недели он опять приносит его на ремонт, но уже с другим дефектом. Понял, как дядька деньги делает? И ты вот такому веришь? Давай-давай! А другие что, лучше? Ты посмотри — никто ничего не знает. Конечно, вот так их всех устраивает. Они и знать не хотят. Подумаешь, алкаш разбился! Туда ему и дорога!

— Честно говоря, Лёшка, я не верю, что ты сам выпал из окна. Ты же знал этот подоконник тридцать лет. Да сколько раз мы вдвоём на нём сидели! Я вот о чём подумал: или это был суицид или тебе кто-то... помог выпасть.

— Не сам выпал? Значит, убийство? — почесал затылок Француз. — Суицид... такое

красивое слово! Звучит солидно. А что, нельзя было сказать проще? Самоубийство. Я же простой, как грабли. Мне больше подойдёт самоубийство.

— Так ты...

— Ничего я тебе не скажу. Вон, лучше Гуся послушай. Сейчас опять с умным видом скажет какую-нибудь тупость. Смотри, уже и рот открыл.

— Да-а, бедный Лёшка. Отмучился, — протянул Гусь, двоюродный брат.

— Это я бедный? — возмутился Француз. — А он чо, богатый? Да он вообще никакой! Из него даже наркомана не получилось. Трихлор нюхал, димедролом на уроках обжирался так, что язык вываливался. Дохляк! Ты помнишь, как в детстве он синел, если игрушку у него отнять? Однажды так разревелся, что скорую пришлось вызывать — закатился, посинел и чуть не отъехал, если б шприцом ему не воткнули. Теперь, видишь, живот отрастил и солидняк мочит. В натуре — гусь. А живот он на чём отрастил? Форшмак жрёт. У него же вторая жена — еврейка. А он плитку кладёт. Криво. Ты вспомни, Володя, его первую жену! Она же погоняла. Конкретно погоняла! Да ещё и шепелявила. Сказать тебе, где он такую нашёл? В Александровке. А там нормальные люди не живут. Либо наркоты, либо дебилы. На чьи, ты думаешь, деньги свадьбу он устроил, а? На деньги моей матери! Ты же был на той свадьбе. Помнишь, ещё у ЗАГСа цыгане к нам подошли и стали кланяться? Я им вместо денег пластмассовую заколку с волосами невесты подогнал. Вот они отупели! А помнишь, первая машина с молодыми сразу оторвалась, и мы её потеряли? Знаешь, куда они поехали? В еврейскую колонку — за ширкой! А нам куда бежать? Где искать? Хорошее дело: свадьба есть, а жениха с невестой нет! Мы же не могли сесть за стол без молодых. Два часа ждали на улице этого Гуся долбанного! Какая стыдоба! Все соседи смеялись. Особенно, когда приехала эта фирменная тачка с кольцами и Гусь из неё выпал на дорогу. Ты думаешь, почему он и его дружок попивали за столом только домашнее винцо? А? Да потому, что обдвиганные сидели! Понимаешь, как моей матери было обидно?

Иногда самые немые из нас, вопреки общепринятому мнению, открывают кое-какие секреты. Пусть они незначительны, эти секреты, и касаются прошлого, но если тебе говорят правду, то почему бы не прислушаться?

— Вот у меня, например, слава Богу, детей не было, — вспомнил Француз. — А что с ними делать? Конечно, продать можно... Да-да! И не смотри на меня так. Это не моя идея, а идея гусёвской жены. Так, чтоб ты знал. После развода эта дебильная хотела продать свою дочку за две тысячи долларов. Каким-то приезжим. И уже сговорились. Гусь пронюхал, хипиш поднял. Хотел дочку через суд отобрать, да не вышло. И чо, думаешь, он такой сердобольный? Ага! Ты спроси у соседей, которые стаскивали его с родной матери, когда он её душил и орал: отдай мне мою долю! Когда бабушка умерла, все же передрались за наследство. Это мне бабуля ничего не оставила. И правильно сделала — у меня же машины не было и дачи у меня тоже не было, как у дядьки. Я и квартиры своей никогда не имел. Так зачем мне деньги?

Говоря о бабушке, он снова напомнил мне детство. Лёшкину бабушку, мою тётю, я помню очень хорошо. Родственники часто оставляли ей своих детей под присмотр, и тогда Лёшка был старшим, любимым её внуком. В этом я ему завидовал.

Лук он не переваривал в любом виде, даже запаха его не выносил. Для него бабушка готовила отдельно. Однако борщ она заставляла есть всех, и самое нелюбимое в нём — капусту — мы с Лёшкой сплавляли младшим: Гусю и его сестре, Лукерье. А те, делая вид, что не нравится, уплетали, тем не менее, с удовольствием.

Раньше бабушка называла Француза Лёшенькой, но по мере взросления внука всё чаще начинала применять к нему прозвище «анчутка», а много позже, когда поседевший внук заявлялся к ней среди ночи пьяным, не давал спать и выпрашивал денег, она называла его не иначе как «анчихрист». Прозвище же «Француз» Лёшка получил от отчима. Потому что вечно пьян и ничего не делает, как однажды пояснил он мне. Интересно, а как в таких случаях называют людей французы?

— Русский! — услышал я ответ от самого Француза. — А чо, не так?

Я рассмеялся, этим действием снова привлекая незаслуженное внимание родни. Француз тоже хохотал под деревом, правда, его никто не слышал. В этот момент, откуда-то сбоку, он и подошёл — отчим. В костюме, галстук и шляпе, несмотря на сильную жару. «Лыс» — так в свою очередь называл его Француз. Действительно, отчим был наполовину лыс, и этот лёгкий дефект скрывала его непременная шляпа. Пряча взгляд, Лыс поздоровался со мной и с Пензевым, а потом, постояв, осторожно произнёс:

— Да, много бед он причинил мне и матери. Ну, да теперь что уж говорить...

Лёшка перестал смеяться и злобно уставился на приёмного отца.

— Ненавижу! Почему он в шляпе? Володя, скажи ему, чтобы снял!

— Вот ты сам ему и скажи. И вообще, кто ты такой, чтобы перед тобой снимали шляпу? Что ты сделал в своей жизни? — меня возмутило то, что Француз пытается командовать.

— Ладно! Я ничего хорошего не сделал. Но он же на похоронах. Пусть снимет шляпу!

— Скажи ему сам!

Француз, видя моё упрямство, разозлился. Выбрав точку на плотном теле врага, он тщательно прицелился и, широко размахнувшись, ударил. Но ботинок серой тенью прошёл сквозь крупный зад отчима, не причинив даже щекотки. На это, как и на бессильную Лёшкину злобу, было забавно смотреть. Я едва сдержал смех.

— Ненавижу его, Володя! Если б ты знал, как ненавижу! У меня мечта есть...

— У тебя есть мечта? — перебив его, я снова еле сдержал смех, — это забавно. Не знал, что мёртвые могут мечтать. Ну-ну! И о чём же ты мечтаешь? Чтобы тебя простили, как ты простил всех нас?

— Нет! Моя мечта намного проще. Я хочу дать под зад моему отчиму. И так дать, чтобы

он вылетел из моего дома!

— Ну, тогда тебе придётся вернуться на четвёртый этаж.

— Издеваешься?

Нам не дали «договорить». Отчим ввернул новую тему. Вернее, не новую, а до тошноты известную всем присутствующим.

— Вот и отец его умер от того же. Много вина пил. Сорок семь лет — это ещё молодой. Но он хоть работал.

— Ага, хорошим газовщиком был, — согласился дядька, — но инструментик с работы таскал. А что? Правильно. Как там в советской поговорке: ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь! Вон, у меня до сих пор его штангенциркуль лежит. Немецкий...

Звуки глухих ударов на площадке прекратились, и к нашим ногам неслышно подкатился мяч. Несколько пацанов, уперев руки в бока, косо смотрели на нас из-за ворот. Француз, обрадовавшись как ребёнок, подбежал к мячу. Ударил. Ещё раз ударил. Снаряд остался на месте, а Лёшка, с досады засунув руки в карманы, отошёл.

Здесь каждому хотелось двинуть по мячу, но всех опередил Пензев. Он лихо подскочил и коротко взмахнул слоновьей ногой. Удар получился плотным, мяч полетел на площадку, точно в узкое пространство между деревом и воротами. Все удивились такой меткости, но у Француза была иная точка зрения:

— Мазила! В такое толстое дерево не попал!

Далее Пензев слегка оживил компанию рассказом о колорадском жуке, то есть о новых видах борьбы с ним на огороде. Но когда эта тема иссякла, Лыс, подув себе на галстук, высказал то единственное, что по-настоящему тяготило в этот день всех присутствующих:

— Какая духота!.. Наверное, дождь пойдёт.

С ним обязательным образом согласилось несколько человек, а потом снова установилось молчание. Оно длилось до тех пор, пока из-за поворота не показался катафалк. Тогда женщины заговорили и стали повязывать на руки мужчинам носовые платки. Тем, кто будет нести гроб, крышку и деревянный крест.

— Трамвай желаний пришёл, — задумчиво произнёс Лёшка.

— Трамвай «Желание», — поправил я, — если ты имеешь в виду Уильямса.

— Тенесси Уильямса, — добавил Француз.

— Откуда ты знаешь? Ты же ни одной книжки за всю жизнь не прочёл.

— А ты не забывай, что я целых два месяца работал в театре. И я не ошибся, я правильно сказал — трамвай желаний. Их желаний. Тех, которые хотят побыстрее от меня избавиться. Так что Тенесси Уильямс тут не причём.

— Да? Ну и что ты будешь делать дальше?

— Не знаю.

— А это правда, что умершие ещё три дня после смерти находятся среди живых?

— Ты же меня видишь? Значит, правда. Если я умер вчера, то у меня есть ещё два дня. Даже не знаю, что с ними делать и куда идти.

— Поехали на кладбище? — предложил я.

— Да не хочу я видеть эти фальшивые рожи!

— А ты не обращай на них внимания. Ты же будешь со мной.

— Ха! Думаешь, интересно наблюдать, как тебя закапывают? — сморщился Француз.

— Ну, как хочешь. А я поеду.

Я присоединился к мужчинам у похоронного реквизита. К тому времени уже разобрались с главными вещами и мне достались три табуретки от гроба. Потом быстро сформировалась небольшая процессия до катафалка во главе с покойником. Толпа под сочувствующими взглядами соседей двинулась и, пройдя пятьдесят метров, остановилась у трамвая желаний. Открытый гроб подали через заднюю дверь, туда же просунули крышку с венками и крестом. Через боковую дверь вошло несколько ближайших родственников. Мать Француза и его младший брат уселись сзади на одно сидение. Я, с табуретками, забрался в салон последним. Трамвай желаний тронулся, но, прежде, чем закрылась дверь, на ступеньку заскочил Француз.

Отчим ехать на кладбище отказался.

Лёшка посидел немного с матерью, но когда ему надоело молчать, перебрался ко мне.

— Я хочу кое-что сказать... тебе. Помнишь, как-то у тебя из дома пропал «дипломат»? Ну, портфель. Так это я... взял. Ты всегда оставлял его у входа, рядом с холодильником. Да в нём ничего особенного не было, только паспорт и ещё какие-то документы. Документы я потом подкинул тебе, а «дипломат» продал.

Мне вспомнился этот неприятный случай. Тогда я вышел из дома всего на несколько минут, а когда вернулся, портфеля уже не было.

— Ладно, Лёшка, это я тебе прощаю, — я попытался заглянуть в его глаза, но не увидел их, вернее, увидел деревья, мелькающие за окном. — Но чего тебе никогда не прощу, так это Аннушку.

— Аннушку? — Француз даже привстал от возмущения. — А ты уверен, что можешь не простить? И что мне твоё прощение, если я сам себе не простил?!

Существуют женщины, наивно полагающие, что сами могут сотворить себе мужчину. Для этого они выбирают самый яркий, но самый никчёмный исходный материал — уличных хулиганов. Такая глина редко поддаётся обработке, но крылатое воображение скульптора не желает этого понимать. Влюблённые глаза видят перед собой только готовый будущий образ, слепые руки жаждут боли. Женщина — творец, пренебрегая законами равновесия и бесконечно веря в своё создание, устанавливает скульптуру только на одну точку опоры — собственную любовь, а потом на этой шаткой основе начинает лепить огромного глиняного идола. И в результате в один прекрасный день ненадёжно закреплённая фигура обрушивается ей на голову.

И существуют не менее удивительные женщины, которые, приняв горький опыт за досадную случайность, снова берутся за ту же работу. Мне жаль, что Аннушка, эта добрейшая хрупкая девушка с бархатым голосом, оказалась именно такой, а то, что

идолом её оказался Лёшка, было жаль вдвойне.

Она оканчивала педагогическое училище и как-то на свою беду повстречалась с Французом. В его худобе, мятых джинсах, дурацких выходках и постоянно исходящем от него запахе портвейна Аннушка усмотрела предмет приложения своей любви и учительских навыков. Кроме того, она вздумала оторвать Француза от «дурной компании», не подозревая, что такой компанией в единственном числе являлся он сам. Она следовала за Лёшкой везде и отовсюду тащила за руку, а тот, почувствовав внимание красивой девушки и зависть пацанов, выделялся ещё больше.

Аннушка надеялась, что его исправит армия и обещала ждать, но Француз, цинично растоптав наивную надежду, сел в тюрьму. Правда, на те же два года. Я навещал его с матерью и Аннушкой, и там, в тюрьме, он дал слово, что станет другим человеком. Но вернувшись, стал прежним. Аннушка, устав от обмана, ушла от него. Очень скоро она вышла замуж за какого-то милиционера. Однажды я был крайне удивлён, когда ко мне пришёл Француз и запросил помощи в устройстве переговоров со своей утраченной любовью. Он говорил, что жить не может без неё, Аннушки. Жалеет о том, что случилось. Обещал пересмотреть прежнюю жизнь, стать совершенно другим человеком. Я высказал всё, что о нём думал, но устроил им встречу в моей машине. На моё удивление Аннушка согласилась снова сойтись с Французом. К тому времени у неё уже был грудной ребёнок от мужа и она, не сказав ему ни слова, просто сбежала из дома. Сбежала с Лёшкой в Эстонию, где он обещал новую счастливую жизнь, обеспечивая таковую работой на лесоповале. Но там, в Кохтла-Ярве, всего две недели понадобилось ей, чтобы понять, что Лёшка и бензопила — понятия несовместимые. А несколько пьяных скандалов, которые тот с лёгкостью учинил по приезду, убедили, наконец, её в том, что Лёшка никогда не изменится. Аннушка с позором вернулась домой. Мне до сих пор не по себе, когда вспоминаю, что в этом позоре участвовал и я.

— А ведь я тебе поверил. Поверил! Да ещё просил поверить Аннушку. Меня ты обманул, пусть. Но ты предал человека, который тебя любил! Дважды предал!

— Без тебя знаю! — огрызнулся Француз. — Но что делать, если я не умел любить? Если мне не было дано? И что, только мне одному не дано? Да таких как я — миллионы! Ты только представь такое — любить может каждый. Что это будет? Сплошная секта — все ходят и друг друга любят. Тьфу, противно! И вообще, хватит. Мы уже приехали.

В конце старого кладбища у бетонной стены пахло мятой и там, в тесноте могил, Пензев показал мне узкое место недалеко от выкопанной ямы. Там я и воткнул три табуретки в мягкую глинистую землю. На них установили гроб, и первой к нему подошла мать. Она откинула кисею от лица, чтобы все могли в последний раз наглядеться на покойника. Никто не плакал, речей никто не произносил и, похоже, не от кого было ждать того душераздирающего вопля, с каким любимого человека провожают в землю. Здесь все с сухими глазами только выполняли формальности.

Пензев посмотрел на пышную арку из диких роз:

— Хорошее место ему досталось... и рядом с отцом. Скоро Лёшка ему новости расскажет.

Сам Лёшка стоял невидимый рядом со мной на солнцепёке и наблюдал за матерью. А та начала последние приготовления: развязала сыну тряпицу, связывающую руки, и упрятала её под саван, поправила небольшой крест в скрюченных пальцах, одёрнула костюм, а потом спросила, нет ли у кого двух монет по пятьдесят копеек? На это с готовностью откликнулся тот же дядька Пензев и, достав потёртый женский кошелёк, извлёк оттуда два медяка.

— А зачем? — поинтересовался он.

Лёшкина мать ничего не ответила, но положила монеты в гроб.

— Типа на карманные расходы, — прокомментировал Француз, — только что я на них куплю?

— Слушай, Лёшка, а что ты чувствуешь, глядя сейчас на мать? — спросил я его.

— Ничего. Я уже давно ничего не чувствую.

Потом наступил момент, который тоже определил Пензев.

— Ну, всё. Давайте прощаться.

— Вечно он командует! – проворчал недовольно Француз. — Вот посмотришь — он и на своих похоронах будет командовать. Если б он мог, он бы и гвозди сам себе в гроб вбил.

Несколько родственников спешно поцеловали его в церковную бумажку на лбу, я тоже приблизился и последний раз, кинув взгляд на опухшее разбитое лицо, коротко приложился губами:

— Прости...

— Прощаю!

Его смех убил всю торжественность момента.

— Какого момента, Володя? Что ты себе придумываешь? Вон, бери с Гусём крышку, да ставь, куда надо.

Что ж, это было дельное предложение. Я с Сергеем, двоюродным братом Лёшки, которому тот с детства прицепил кличку Гусь за его глупость и важничание на пустом месте, соединил две части домовины.

— И забери у дядьки Петьки молоток! — напомнил Лёшка. — Не хочу, чтоб он. Я хочу, чтобы ты забил мой гроб.

— Да какая тебе разница, Лёшка?

— А я хочу, — настаивал он.

Ладно, эта просьба была не такой уж невыполнимой.

— Дай сюда, дядь Петь! — подойдя к Пензеву, я отобрал у него молоток с гвоздями.

Тот сделался растерянным как ребёнок, у которого отняли любимую игрушку, но, тем не менее, не забыл присоветовать:

— Первый гвоздь в голову!

Я быстро забил все четыре, правда, первый гвоздь, на злорадство Пензеву, загнулся, дойдя до половины.

— Пойдёт! — одобрил Лёшка.

Дальше люди расступились, пропуская тех, кто уже давно держал наготове верёвки. Мужчины быстро разобрались с ролями. Под угрюмое молчание родни они потащили гроб к могиле, где тот, негромко стукнувшись о дно, нашёл, наконец, своё место. Потом к нему потянулись руки и сверху посыпались горсти земли. Но и тогда никто не проронил и слова.

Закапывать из-за духоты было трудно. Пять человек, среди которых мучился и я, обливались потом. Из толпы, стоящей поодаль, никто не пришёл подменить. Но скоро

лопаты и жгучее желание выпить на поминках сделали своё дело. Насыпали острый бугор, а деревянный крест в ногах закончил простую композицию. Лёшка на это заметил:

— Щас дядька Петька скажет про кораблик. Он в конце всегда одно и то же говорит.

Действительно, Пензев, последний раз шлёпнув лапатою, объявил:

— Во какой мы кораблик ему сделали! Нехай плывёт.

Потом, утерев пот со лба, добавил:

— А вы, женщины, ставьте венки. И что у вас там ещё? Банки с цветами? Ну и банки ему поставьте!

Кораблик... Как-то мы Лёшкой, взяв напрокат лодку, выплыли на середину озера. Там Лёшка встал во весь рост и стал её раскачивать. Я боялся, кричал, ухватившись за борта, чтобы прекратил, а он только смеялся. Он хотел перевернуть лодку, но я ему не позволил.

— Лёшка, ты помнишь? Зачем ты хотел перевернуть лодку?

— А просто так.

Я немного задержался у могилы, поправил ленты на венках и, закулив, пошёл к автобусу.

— Ну, вот и всё, Лёшка.

— Нет, не всё. Ещё поминки, — подсказал Француз.

Женщины поливали из ковша, передавали умывшим руки мокрое полотенце. Я тоже смыл кладбищенскую грязь, утёршись платком. Потом всех позвали за стол.

— Как ты сказал, Володя? Чтобы сбылась моя мечта, нужно снова подняться на четвёртый этаж? Ну, что ж, пошли, — хмыкнул Француз.

Сейчас я увижу его комнату и то окно, из которого он ушёл. Этого не очень хотелось, а уставшие с утра ноги едва поднимались, ступени будто отталкивали назад, я хватался за перила. Как тяжело подниматься!

— Спускаться легче, чем подниматься. Заметил? — слышалось насмешливое замечание идущего сзади Француза.

— Но лететь — ещё легче. Да?

— Нет. Лететь, даже вниз — это самое трудное, если ты не птица.

Людей усадили в двух комнатах: в зале — соседи и дальние родственники, в маленькой, Лёшкиной, — отчим, брат и дядя. Здесь получилось узкое мужское общество. Я с Лёшкой тоже пришёл туда. В комнате было душно.

— Открой окно, — попросил Француз.

Усмотрев в этой просьбе намёк, я всё же подошёл и, одёрнув тюль, подал ручку окна на себя. Волна с улицы жаркого воздуха, предвещающего долгожданный дождь, несколько не освежила, но раздавшиеся в этот момент глухие раскаты далёкого грома обнадѣжили поминающих.

Обычный набор: сыр, копчёная колбаса, варёная курица, печенье и конфеты — это было поставлено на стол, чтобы запомнили Француза. Ожидали ещё и борщ, но первым делом, по обычаю, отведали сладкой кутьи. А когда подали борщ, Пензев, оказавшийся самым старшим за столом, произнёс единственные разрешённые в таких случаях слова:

— Ну, пусть земля Лёшке будет пухом! Царствие ему небесное!

— Царствие небесное! — повторили за ним все, кроме отчима, и уже подняли рюмки.

— А где мой стакан? — возмутился Лёшка.

— Подождите! — остановил я присутствующих. — А Лёшке? Где его стакан?

Никто почему-то не подумал о рюмке водки и куске хлеба для покойного. Я взял свою рюмку и, положив сверху ломоть, поставил на подоконник. Пензев сделал лёгкий выговор Лёшкиному брату за недосмотр. И тогда уже выпили. Но без отчима, которого позвали на кухню.

— Ты заметил, Володя? Лыс не пожелал мне царствия небесного и даже не выпил, — злился Француз. — Видишь, он ходит и в глаза людям не смотрит. Спроси его — почему?

— Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что он виноват в твоей смерти?

Француз уселся на подоконник, рядом со своей рюмкой. Несколько раз безуспешно попытался поднять её, пожаловался:

— Вот так сидишь на своих поминках и не можешь даже выпить... Я никого не виню в моей смерти. Но Лыс — такая сволочь! Десять лет он мать избивал! И всё из-за меня. Если я что-нибудь не то сделаю, так он её дубасит. Представь, женщине шестьдесят лет, а она с фингалами ходит. Ведь он её не любит, ему только квартира нужна. И ещё дура, которая будет его кормить. А я ему мешал, Володя. Он спал и видел, как меня из дома выставит. Заставил матушку продать мою однокомнатную квартиру и на эти деньги купил себе машину. Понял? А теперь и эта квартира будет его.

Гусь, первым доев любимый борщ, спросил, облизываясь, у Андрея:

— А это правда, что Лёшка перед смертью за бутылкой хотел пойти?

— Хотел, но мать его не пустила. Она в последнее время запарилась из вытрезвителя его вытаскивать. Лёшка же болел, еле ноги таскал, а ещё туда же — водку пить. Ты же знаешь, он на одной почке жил. Вот мать и стала закрывать его на ключ. В тот день тоже закрыла. Но я, когда уходил, двадцать рублей ему оставил... Зачем я ему денег дал? — корил себя брат.

Гусь хотел спросить ещё что-то, но в этот момент перед ним поставили тарелку со вторым, и он передумал. Под второе поднимают вторую рюмку. Дядька Петька, кашлянув, постарался быть кратким:

— Ну, что? Каким бы он ни был, он умер, Лёшка. Плохое за столом не говорят. Значит, царствие небесное ему, — и выпил.

Лёшка заглянул в мою тарелку с азу.

— Лук есть?

— Нет.

— Это хорошо.

Потом зашипел над моим ухом:

— Опять пришёл! — он имел в виду отчима. — И Гусь этот — козёл!

Вдруг Лёшка неожиданно засмеялся.

— Я знаешь что вспомнил? — объяснял он причину смеха, — как Лыс подрался с первой гусёвской женой, с той, что шепелявила. Это на моей свадьбе было, когда уже все разошлись. На кухне. Она посуду мыть не хотела, а Лыс её заставлял. Так она его хозбатом назвала. Лыс этой дуре пощёчину дал, а она его укусила. Знаешь, куда? Она его за лоб укусила! Представь — так два ряда зубов и оставила. И вроде рот у неё небольшой...

Мне пришлось срочно доставать носовой платок, чтобы не выдать неподобающих в такой ситуации чувств. Дальше Лёшка сказал серьёзно:

— Ты хочешь знать как я умер? Вижу, хочешь. Но я тебе не скажу. Никому не скажу. Вообще, глупо что-то объяснять, когда сам себя не понимаешь. Когда не знаешь, чего хочешь. Я до сих пор не понимаю, зачем мне дали жизнь? Ведь я ничего не хотел. Ничего! Ну, разве что выпить — и всё. Так для этого можно было и не рождаться. Плохо,

что нас не спрашивают, хотим мы появляться на свет или нет. А то я бы сказал — не надо! И у людей было бы меньше проблем... В тот день я оглянулся назад — ничего там нет, посмотрел вперёд — то же самое. И, конечно, захотелось выпить. А меня закрыли.

— Ну и царствие тебе небесное! — объявил Пензев в третий раз.

Лыс, что-то пробормотавши себе под нос, быстро опрокинул рюмку. Ему почему-то не сиделось на месте. Наспех закусив, он вышел из-за стола. На ходу вытащил из кармана платок, чтобы вытереть руки, и вместе с ним, звякнув, выпала монета. Лыс нагнулся её подобрать, показывая всем толстый зад. Француз немедленно сорвался с места и с разбега пнул по нему ногой. Отчим, проделав несколько неуклюжих шагов, вылетел в прихожую.

— Надоело всё! — невесело высказался Француз.

Затем он ступил на подоконник и, помахав мне рукой, вышел в окно.